

Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей среди бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.
И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.

19 мая 1910 года

В ноябре 1922-го, Марина Цветаева в письме Людмиле Евгеньевне Чириковой скажет: «Как вся моя жизнь – сон о жизни, а не жизнь!» Тоска, больше, чем мечта, о той жизни, которая возможна только во сне. Да и сама Цветаева – более явление сна, чем реальности. Ещё в 1917 году в стихотворении из цикла «Бессонница» Марина Цветаева взывает: «Друзья, поймите, что я вам – снюсь».

«Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность» (из дневника 1919 года).

Она гораздо больше, чем *здесь и сейчас*, там – в Царстве Небесном, переселяется в сон, поселяется в нём, ощущая себя вне плоти, – тенью. Или, как видели те, кому удалось разглядеть – почувствовать – понять сущность феномена Цветаевой, – «голой душой».

«В моих жилах течёт не кровь, а душа», – подтвердит и она сама. Душу более всего являют голос и сон... Голос нельзя не услышать – писала так, как требовала: чтобы, читая, слышать, слушая – видеть. Сны... сны доверила нам – позволила не только заглянуть в них, но сама сновидица оставила их толкование.

В 1923 году, переживая чувство, несравненное в своей единственности, буквально подтверждающее признание, что её «...желание любви – желание смерти», в письме Роману Гулю Цветаева скажет: «Гуль, я не люблю земной жизни, никогда её не любила, в особенности – людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела».

Бог согнулся от заботы
И затих.
Вот и улыбнулся, вот и
Много ангелов святых
С лучезарными телами
Сотворил.
Есть с огромными крылами,
А бывают и без крыл.
Оттого и плачу много,
Оттого –
Что влюбила больше Бога
Милых ангелов его.

15 августа 1916

О чём бы мы ни думали, что бы ни пытались разгадать в загадке, в тайне, в чуде Марины Цветаевой, помощь нужно искать у неё самой, в её словах, делать то, что она указывает: «Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри – внутрь, не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение... Проникаясь, проникаю». И тогда до самого противоречивого из сказанного Цветаевой можно дотянуться и понять, что это есть то самое «многодушие поэта», та самая множественность, о которой – в письме к Рильке от 14 июня 1926-го: «Я – многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие! (Ненасытное множество!) И один ничего не должен знать о другом, это мешает». И ещё – в 1937-м Юрию Иваску: «Я – много поэтов, а как это во мне спелось – это уже моя *тайна*».

Понятным станет необходимость не только разгадки сна, но и жизни в нём как в начале пути, так и в его конце.

Через всю жизнь в Слове проходит обращение к Сну, его действительное присутствие, явление сновиденных персонажей в дневниках, письмах, в малых и крупных литературных формах: стихах и поэмах, драматических произведениях. Например, – в «Метели», «Каменном Ангеле», «Фениксе»...

Уход в метель – уход в сон, уход в сон – уход в смерть? Равно как и – в невозможное, в непостижимое, во вневременное... В мечтах, грёзах, даже в бессоннице присутствует Сон – больше, чем состояние – как действующее лицо.

Как же иначе, если Поэты – Сновидцы, если «Поэт, как ребёнок во сне: всё скажет»?

Если «...Певцом – во сне – открыты/Закон звёзды и формула цветка»?

Если для Марины Цветаевой – «Две любимые вещи в мире: песня и формула», то любимый вид общения – сон и письмо. Но из них сон она назвала более совершенным, хотя «законы те же». В ноябре 1922 года Цветаева непрерывно думает о Пастернаке. В черновом варианте письма к нему читаем: «Мой любимый вид общения – потусторонний: сон. Я на полной свободе...»

Сон не лжёт, во сне не лгут. Надо только уметь его услышать – разгадать. А в жизни... «Я знаю, что в жизни надо лгать (скрывать, кроить, кривить)... Но мои встречи – не в жизни, вне жизни, и – горький опыт с первого дня сознания – в них я одна (как в детстве: “играю одна”»).

И дальше:

«Вы – слушайте внимательно – как сон, в который возвращаешься (возвратные повторные сны). Не сон, действующее лицо сна. – Или как город: уезжаешь – и его нет, он будет когда ты вернёшься.

Так, в жизни я Вас наверное не пойму, не соберу, буду ошибаться, нужен другой подход – разряд – сонный. Разрешите вести встречу так: поверьте! Разрешите и отрешитесь».

Поймёт – на то и Цветаева, на то и «вершинный брат». Помогут сны и письма. 4 мая 1928 года – уже другому адресату – Николаю Гронскому:

«Если бы Вы знали всю *бездну нежности*, которую Вы во мне разверзаете. Но есть страх слов». Всё это не в жизни, а в самом сонном сне».

Та же тема, тема сна и даже похожими словами вновь прозвучит в письме к Саломее Андрониковой-Гальперн от 12 августа 1932 года: «Мой любимый вид общения – сон. Сон – это я на полной свободе (неизбежности), тот воздух, который мне необходим, чтобы дышать. *Моя погода, моё освещение, мой час суток, моё время года, моя широта и долгота.* Только в нём я – я. Остальное – случайность».

Великая случайная неслучайность прихода гения – «эмигранта Царства Небесного» в мир людей.

Сколько раз Марина Цветаева признаётся, просит услышать – поверить, наконец, что она «...не человек, /А только сон, который только снится» (стихотворение «Соперница, а я к тебе приду...» 8 сентября 1916 года). Но этому Сну больно – «Мне кто-то в сердце забивает гвозди!» Он просит: «– Утешь меня, утешь...» Так не бывает? Бывает, если – поэт, если чудо. А поэт, по определению Цветаевой – «утысчечеренный человек».

А разве сна не есть чудо, при всей его разгаданности или, скорее, рассказанности и даже объяснённости-расшифрованности. Шифр сна, стиха, письма... «Стихи – как всё что чрезвычайной важности (и опасности!) – письмо зашифрованное». Как всё сошло под *седьмым покрывалом* искусства...

«Мысль:

(30-го января 1925 г.)

Есть вещи, которые можно только во сне. Те же – в стихах. Некая зашифрованность сна и стиха, вернее: обнажённость сна = зашифрованности стиха. Что-то от семи покрывал, внезапно сорванных.

Под седьмым покрывалом – ничего. Ничто: воздух: Психея. Будем же любить седьмое покрывало (“искусство”).

Не могла Цветаева пропустить чару сна, не относиться к сновиденному со всей пристальностью, со всем вниманием и верой поэта. Ещё в 1923 Марина Цветаева – Александру Бахраху:

«Всё не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится: вот падаю с сорокового сан-францисского этажа, вот рассвет и меня преследуют, вот чужой – и – сразу – целую, вот сейчас убьют – и лечу. Я не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страшные сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без случайностей, вся роковая, где всё сбывается.

Что мне делать – с этим?! – в жизни...

Этого – Вы ждали? И *это* ли Вы любите, когда говорите (а м. б. и не говорили?) о любви. И разве *это* – можно любить?!»

Есть те, кто не принимают, не понимают – не любят Цветаеву, её человеческое и творческое явление. И есть те, для которых *это* невозможно не любить, но для этой любви необходимо иметь и душу, и сердце... и силы, нет, не равновеликие (это невозможно!), а соприродные любимому поэту. Только тогда и сбывается то, о чём горько сокрушалась Цветаева: «Я никому не была нужна *как вода*». Становится нужна как вода – вся до донышка! Каждым словом, мыслью, поступком, сном жизни и сном творчества...

О ком и каких только снов Марина Цветаева не видела! Пророческие, страшные, ликующие, дарующие встречу с невозможным. Возвращающие былое – отменяющие смерть. Например, сны с уже умершей младшей дочерью Ириной. Были сны повторяющиеся, длащиеся, прерывающиеся и после пауз вновь возникающие. Записывала. Толковала. Оставила – доверила «дорогим правнукам..., любовникам и читателям через 100 лет» порядка 50 снов.

Когда *любишь и губы, и душу*, хочешь знать всё. Всё о поэте знать невозможно, поэт – тайна. Любое знание, даже самое глубокое – лишь прикосновение к миру, космосу, вселенной по имени Марина Цветаева.

Заглянем только в три сна из 50-ти. И, так как, по словам Цветаевой, «хронология – ключ к пониманию», начнём с 1909 года.

Сон о маме. Он рассказан в письме к Эллису – Кобылинскому Льву Львовичу, поэту, переводчику, другу сестёр Цветаевых. Мамы нет уже три года.

«Париж, 22-го июня 1909 г.

Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой были Aiglon и Ваши письма, а сны – о Наполеоне – и о маме. Этот сон о маме я и хочу Вам рассказать. Мы встретились с ней на одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была как всегда, как за год до смерти – немножко бледная, с слишком тёмными глазами, улыбающаяся. Я так ясно теперь помню её лицо! Стали говорить. Я так рада была встретить её именно в Париже, где особенно грустно быть всегда одной. – “О мама! – говорила я, – когда я смотрю на Елисейские поля, мне так грустно, так грустно”. И рукой как будто загораживаюсь от солнца, а на самом деле не хотела, чтобы Ася увидела мои слёзы. Потом я стала спрашивать её познакомиться с Лидией Александровной. – “Больше всех на свете, мама, я люблю тебя, Лидию Александровну и Эллиса” (“А Асю? – мелькнуло у меня в голове. – Нет, Асю не нужно!») «Да, у Лидии Александровны ведь кажется воспаление слепой кишки”, – сказала мама. – “Какая ты, мама, красивая! – в восторге говорила я, – как жаль, что я не на тебя похожа, а на...” хотела сказать “папу”, но побоялась, что мама обидится, и закончила: “неизвестно кого! Я так горжусь тобой”. – “Ну вот, – засмеялась мама, – я-то красивая! Особенно с заострившимся носом!” Тут только я вспомнила, что мама умерла, но несколько не испугалась. – “Мама, сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!” – “Этого нельзя, – грустно ответила она, – но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, – помни, что это я или от меня!” Тут она исчезла. Сколько времени прошло – я не знаю. Снова шумная улица. Автомобили, трамваи, omnibusy, кэбы, экипажи, говор, шум, масса народа. Вдруг я чувствую, что за мной кто-то гонится. Мама? Но я боюсь, значит не она. Что-то белое настигает меня, хватает и душит. Перехожу через улицу. Прямо на меня трамвай. Я ухожу с рельс, иду в противоположную сторону, а трамвай за мной.

Освободившись наконец от него, вижу насторожившийся автомобиль, выжидающий, куда я двинусь, чтобы кинуться за мной. Тут я начинаю понимать, что *что-то здесь неладно*. Я вижу, что кто-то узнал наш с мамой уговор и хочет меня наставить против мамы, хочет, чтобы я, напуганная преследованием вещей и неприятными неожиданностями, наконец, сказала: “Оставь меня в покое!” Я поняла также, что мама бессильна предупредить меня и теперь мучается. Перехожу на другой тротуар. Вечереет. Около стены с афишами стоят трое людей – маленькая старушонка, ребенок и старик. Я начинаю говорить о маме, но старуха ничего не понимает, не слышит. Я начинаю думать, что мне только кажется, будто я говорю. Вдруг я стою перед ней и шевелю губами? Как только я это подумала, мне стало ясно, почему она меня не слышит, но всё же я продолжала мысленно мою фразу, которая кончалась словами “уничтожить”. Моя старуха в то же мгновение вынимает из кармана мел и пишет на стене “уничтожить”, то есть не *произнесённое* мною слово. Тогда я начинаю спрашивать её: “Вы знали маму? Вы любили её?” – “Подленькая она была, прилипчивая, – шипит старушонка, – голубка моя, верь мне”. В её шепоте что-то заискивающее, хитрое и вместе с тем робкое. Тогда я обращаюсь к стоящей за мной барышне – высокой, в голубом платье и *rinse-nez* – и упавшим голосом спрашиваю её: – “А что думаете о маме Вы?” – “У неё было очень много книг, оттого ей все завидуют”, – неопределенно отвечает барышня. – “Мама была прямая как верёвка, натянутая на лук! – кричу я звенящим и задыхающимся от негодования и огромного усилия голосом, – она была слишком прямая. Согнутый лук был слишком согнут и, выпрямляясь, разорвал её!”

Всё исчезает. Светлый вечер у нас в Трехпрудном. В детской, на Асиной кровати сидит какой-то незнакомый господин – следователь в голубой рубашке, с огромной, спускающейся на грудь, чёрной бородой. У Асиного стола – барышня в *pinse-nez*. В руках у неё перочинный нож и книга. Не знаю, под каким предлогом я выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице и вижу: навстречу ко мне, с трудом поднимаясь по ступенькам, идёт померанцевое деревцо в кадке. Я толкаю его, но вдруг понимаю, что оно зелёное, милое, что ему трудно идти вверх, а оно всё же идёт, что это – мама! Я обнимаю его тонкий ствол, целую хрупкие листочки. Внизу, на краю стола в столовой лежит записка, начинающаяся словами “Дорогая Муся” (так меня звала мама). – “Нет, это не мама пишет! это не её почерк, это снова *подло!*” Рассматриваю бумажку, и что же – на углу различаю слова, “следователь по судебным делам”. Значит тот, наверху, тоже *враг*. Мчусь по лестнице и ещё в дверях кричу: “Это Вы писали, а не мама, это подло, подло!”

Барышня в *pinse-nez* рассматривает бумажку. Следователь, видя, что он в моих руках, поднимается с постели и грозно требует у барышни бумажку, желая уничтожить улику. Она быстро сует ему в руки книгу, перочинный нож и убегает вслед за мной. Улики налицо. За следователем поднимается полиция. Мы на улице. Идёт трамвай. Из трамвая высовываются головы, машут платками. Я на всякий случай отвечаю. Может быть, среди всех этих фальшивых знаков и есть один настоящий, мамин. И как бы в награду за храбрость я вижу на площадке трамвая трёх девушек, из которых левая немножко – о, чуть-чуть! – напоминает маму. Радости моей нет границ. Я беру её под руку и вишу сбоку у трамвая. Её глаза! Да, да! Она не может принять свой обычный вид, а то все узнают, но я-то всё поняла! Перед нами идет другой трамвай, и с него свисает повешенный в красном костюме – может быть следователь.

Опять площадь. Милая барышня в *pinse-nez*, моя помощница, улыбается. Я благодарю её и сжимаю обеими руками её маленькую, холодную ручку.

Вот и всё. Спасибо за Ваши письма, за письма и за сон. Милый Чародей, непременно приезжайте в Тарусу. Много, много Вам расскажу. МЦ.»

Надо ли разгадывать этот сон? Сон поэта, сон ребёнка – подростка, потерявшего мать, несущего своё человеческое одиночество. Больше – одиночество поэта.

Будут сны о её «роковом и грустном счастье» – Сергее Эфроне, о дочерях: о «гении – в Душе» Ариадне и умершей трагически рано Ирине... О Борисе Пастернаке, Райнере Мария Рильке, о Пушкине, о Парнок...

Миновать сон – провидение роковых событий жизни, который увидит поэт в 1939 году, невозможно. Последняя весна во Франции. 16 июня этого года Марина Цветаева с сыном уедет вслед за дочерью и мужем в СССР. «Роковое и грустное счастье...» Роковое. Цветаева считала себя фаталисткой. В рок, в судьбу верила. Верила снам.

«...Я не мистик, т.е. ничего такого не ищу, я его только – отмечаю, и случается оно со мной (и в мире) – постоянно, – я только удивляюсь слепости других» (запись Цветаевой, февраль 1939 года).

«СОН 23-го АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ОКОЛО 12 ч. НОЧИ.

Иду вверх по узкой тропинке горной – ландшафт Св<ятой> Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись – негде. Навстречу – сверху – лев. Огромный. С огромным – даже для льва – лицом. Крещу трижды. Лев – ложась на живот – проползает мимо – со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу – верблюды – двугорбый. Тоже больше человеческого (верблюжьего) роста. Необычайной даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд – перешагивает (я – под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу – лошадь. Она – непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И – лошадь несется по воздуху – надо мной: люблюсь изяществом воздушного бега.

И – дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед – голова отрывается. Подо мной города: узнаю – Прагу: Влтаву. И другие города, сначала крупные, подробные (бег спиральный), потом – горстки белых камешков. Горы – заливы... Несусь – неудержимо: с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно – и безнадежно! – за него держусь, зная, что очередной круг будет – вселенная: та *полная* пустота, к<отор>ой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, *внутри себя*...

Было *одно* утешение: что – ни остановить, ни изменить: роковое. И – что хуже не будет. Но последней я всё-таки видела – Прагу: Влтаву».

Записав сон, Цветаева оставляет помету: «Сон с воскр<есенья> на понед<ельник> – 23-го–24-го апр<еля> 1939 г., Bd Pasteur – Hôtel Innova, № 36. Проснулась с лежащей через грудь рукой “От сердца”...Да, конечно...» Значимость сна указывает точность, с которой зафиксированы день, час и место.

Бесстрашно ли уезжала Марина Цветаева в СССР? Нет. Конечно, нет. И своими страхами делилась в письмах к самым близким. Ландшафт Святой Елены – острова последнего приюта её Наполеона – стал символом границы между жизнью и смертью.

Движение влево (по Юнгу) – катастрофичное движение к бессознательному. Так уж – к бессознательному? Сколько раз говорит поэт о смерти, сколько раз недопустимо близко подходит к ней, раздумывает, почти прельщается ею и всё-таки отвергает.

Смерть – это нет,
Смерть – это нет,
Смерть – это нет.
Нет – матерям,
Нет – пекарям.
(Выпек – не съешь!)
Смерть – это так:
Недостроенный дом,
Недовзращенный сын,
Недовязанный сноп,
Недодышанный вздох,
Недокрикнутый крик.
Я – это да,
Да – навсегда,
Да – вопреки,
Да – через всё!
Даже тебе
Да кричу, Нет!
Стало быть – нет,
Стало быть – вздор,
Календарная ложь!

Это стихотворение написано в июле 1920-го, но весной 1933 года Марина Цветаева оставляет запись по-французски:

«Мне часто снится, что я себя убиваю. Стало быть, я хочу быть убитой, этого хочет моё скрытое я, мне самой незнакомое, только в снах узнаваемое, вновь и вновь познаваемое. Единственное истинное, моё старшее, моё вечное я.

В большие часы жизни это оно осознаёт, кто решает.

Следовательно –

Я ничего не могу изменить в движении моих *стихий*, в движении к концу <не дописано> и т.д., которые вместе и создают меня: мою душу».

О персоналиях сна – льве, верблюде, лошади – их значениях и присутствии не только во сне, но и в жизни Цветаевой, дан полнейший разбор – раздумье – рассказ в книге Елены Айзенштейн «Сны Марины Цве-

таевой». Цветаева верила: каждый сон несёт в себе какое-то послание. Задача – правильно его истолковать. Если полистать сонники, которых множество и которые дают диапазон толкований сновиденных знаков, то разброд настолько велик, насколько же и противоречив. Зная произошедшее в жизни Марины Цветаевой, из них легко выбрать те, что можно рассматривать как предостережения и предсказания грядущих событий.

Все звери крупные. «Рост – метафора духовной и метафорической силы, внешнее выражение силы в мире ином... Большие звери для неё – блаженное дуновение мира природы, который она всегда считала своим, круг величин иного, чем у людей, порядка» (Елена Айзенштейн).

По соннику Миллера, любые хищники символизируют удар – в противостоянии будут задействованы большие силы. По соннику Фрейда, лев символизирует обострённую чувствительность и возбудимость сновидца. Лев гнался – к неприятностям. По соннику Нострадамуса, лев является символом властных людей и означает тиранию.

Как и лев, верблюд в сны Марины Цветаевой приходил не единожды. Так, например, 30 июля (11 августа) 1919 года – сон про Алексея Александровича Стаховича, которым она поделится со своим удивительным первенцем Алей:

« – Аля, что это был за верблюд?

– Марина, это не простой верблюд.

– Конечно, не простой, Аля!

– Марина! Это смерть его была!

(Пауза)

– Смерть, которая гнала его обратно в гроб!»

Читаем в сонниках. Верблюд является знаком трудолюбия и большой силы, соотносится с трудом и выносливостью, означает перемены. Слышать верблюжий голос символизирует грядущие неприятности, какое-либо помутнение рассудка, совершение дурного поступка, встречу с незнакомым неприятным мужчиной. По мусульманскому соннику и другим, приближающийся во сне верблюд является предостережением о том, что на вашем жизненном пути встретятся несчастья.

Лошадь, летящая во весь опор, – третий зверь этого сна. Согласно соннику Артемидора, видеть лошадь во сне – к смерти. С давних времён конь – амбивалентный религиозный символ. Двойственность символа сохраняется в творчестве Цветаевой, где чаще речь идёт о *коне*, чем о *лошади*. Во сне 1939 года *лошадь* – воплощение *Смерти*, существа женского рода, как утверждает Цветаева.

Думается, в сонники Цветаева заглядывала, но главное как всегда находит в своих снах и говорит она сама. В какой-то период жизни Марине Цветаевой кажется, что сны осуществимы – сбываются, и она встретит – вступит в своё невозможное. «На свободе сна» в «просторах души» явила бы она себя «во весь рост», если бы была вольна поступать природно... Но на протяжении всей жизни Марина Цветаева верила, что её сны приоткрывают дверь иной реальности – той, мечтанной (сон о розовом вереске, розовой юбочке, замке), той, неизведанно-непостижимой, сновиденной (обещанной кем?) любви, когда *любишь и губы, и душу*.

Третий сон, в который мы предлагаем вам заглянуть – это последний из записанных Мариной Цветаевой. Сон о Марке Львовиче Слониме, читателе и почитателе, друге Цветаевой, одном из редакторов журнала «Воля России». Запись этого сна будет последней дневниковой записью Цветаевой, после неё – переводы стихов Ф.Г. Лорки, перевод с немецкого стихотворения «Девическая могила» неустановленного поэта, запись о начале войны и адрес Марии Юдиной.

«СОН (среди бела дня, нынче, 28-го мая 1941 г.)

Я (общие экзамены) тоже держу экзамен – у Марка Львовича, с которым только что прощалась, с ним и Сюзанной, и о котором я знаю, что это – последнее прощание.

Но теперь – люди, маленькая комната, и на низкой тахте – судья, не то <пропуск одного слова>, не то волшебник, м.б. даже персиянин, в пёстром халате, очень древний и очень ко мне благосклонный.

– Ну а теперь Вы, Марина Ивановна, и Вас мы спросим ... расскажите нам, как Вы видите смерть Богородицы?

– Я Вам расскажу картиной можно? И м.б. даже двумя, в две створки. Она лежит почти на полу, на очень низком и широком ложе. В чёрном платье, как в окладе. Лицо широкое, глаза большие, тёмные, и вокруг глаз – такие же круги. Дверь на волю полуоткрыта и в неё мы видим: саночки с бубенчиками, и в санках – ряженные, м.б. ряженные, а м.б. нет, – разные шутики, чортики, зверюшки, рогатые, хвостатые, – тварь. А на второй створке они все уже у неё на постели, некоторые в ногах, другие, побойчее – ближе, и она всех их простила и со всеми прощается, и так как в ней избыток любви, которую она не смогла истратить на *того*, который слишком рано вырос, и был для неё слишком велик, она взяла на руки самого маленького шутика – и ласкает его. А наверху – складня: небо, она на облаке, лежит на длинном белом облаке, которое в конце немощко заворачивается и прикрывает ей ноги, а вокруг неё, на коленях, все те – п.ч. она тоже <не дописано>

Чувствую, что выдержала. И тот – безмолвный, но здесь решающий – и М.Л., улыбаются – улыбкой учителя, иного и не ждавшего, – гордости, скажем?

М.Л. отходит. Отхожу с ним. И, быстро (секунды считаны) – Вы не можете отвезти (сейчас не помню, кому) – о, пустячки, весить не будет, просто память... – Я всё, что угодно возьму для него – и для Вас. – Так дай мне свой адрес, в последний раз, ты мне столько раз его записывал. Он (и я уже *знаю*): – Лагерь 328 (даьше – забыла) ... Записывает мне в книжку. Я: – А сколько тебе говорили – ты? А это ведь – показатель, м.б. – единственная мера... любви.

И – просыпаюсь». (Запись сна дана по публикации Елены Коркиной.)

1941. Последний земной сон Марины Цветаевой с 30 на 31 августа останется не рассказанным, не разгаданным... *Невольница сна*, может быть, и глаз не сомкнула той ночью?

Признание о том, что «досмотрела свой огромный сон» было сделано ещё или уже 15 ноября 1916 года:

По дорогам, от мороза звонким,
С царственным серебряным ребёнком
Прохожу. Всё – снег, всё – смерть, всё – сон.
На кустах серебряные стрелы.
Было у меня когда-то тело,
Было имя, – но не всё ли – дым?
Голос был, горячий и глубокий...
Говорят, что тот голубокий,
Горностаевый ребёнок – мой.
И никто не видит по дороге,
Что давным-давно уж я во гробе
Досмотрела свой огромный сон.

Досмотрела... Может быть, здесь речь идёт о счастливом сне, который был *огромным*, хотя и о кратком миге счастья? «В жизни...*ни-че-го* нельзя... Поэтому – искусство (“во сне всё возможно”). Искусство – *сон творчества*.

«Состояние творчества – есть состояние наваждения...

Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинувшись неизвестной необходимости, поджигашь дом или стаalkивашь с горы приятеля. Твой ли это поступок? Явно – твой (спишь, *снишь* ведь ты!). Твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы...

О, спящего не спасёшь!»

В недописанном – неотправленном письме Марины Цветаевой Арсению Тарковскому она обещает адресату материнскую нежность, любовь, которая для неё уже давно равна пониманию. В этом же письме объясняет: «Иногда я баюкала своих снів<шихся> – в своё<м> собств<енном> лоне. Чтобы лучше – спали. Ибо всё, что я хот<ела> для другого и от другого – сон...»

Спустя почти месяц Цветаева записала в тетрадь:

«Москва, 2-го апр<еля> 1941 г. (Всё уже *давно* кончено.)

Этого письма он не получил – п<отому> ч<то> я его не написала. И этих стихов он не получил – не успел, только раз слышал – в изустном чтении. Потом (да, есть “потом”) – в последний раз – да, есть последний раз! – как-то рассеянно, другим занятый (мною) сказал: – “А я бы всё-таки хотел иметь эти стихи...” Одно из последних слов: –

– Ах, хоть бы Вы мне сегодня приснились!... Что ж! Я всегда предпочитала присутствие в отсутствии – обратному, и это – *моя* роль: сна. Недаром просил: – Приснитесь!»

Невольники сна – поэты... Марина Цветаева желала и умела приходить в сон к тому, с кем была обречена её *вечной не-судьбой* на разлуку или невстречу.

Умеет делать это и сегодня, надеясь и вверяясь чутью и слуху читателя – абсолютному слуху абсолютного читателя.

Весна наводит сон. Уснём.
Хоть врозь, а всё ж сдаётся: всё
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне...